

Йордан Люцканов

О должной местосвязанности болгарской русистики,  
или Чем обязана болгарская русистика  
своему месторазвитию

---

Литературоведение, как познание преимущественно не «номотетическое», а «идиографическое» (разграничение Вильгельма Виндельбанда), и как часть, пусть и крайняя, своих собственных объекта и предмета, местосвязанно и потенциально авторефлексивно. Литературоведение — продукт человеческих общностей и их взаимодействий, неизбежно вписанных в географическое (в т. ч. ментальной географии) пространство. Любая литературная система (т. е. цикл производства-и-рецепции литературы) территориальна, в т. ч. полилингвальные и не-этноцентрические (ненационализованные) системы. Основные функции литературоведения — в обеспечении рациональной конвертируемости ценностей и образцов питающей его литературной и культурной системы (или литературных и культурных систем) и в поминании (поминовении) предков по системе (системам). Перформативность и этичность литературоведения не-«детерриториализованны» (не отрешены от пространства).

Месторазвитие (термин Петра Савицкого) болгарской элитарной культуры XIX и первой половины XX вв. поставило болгарского интеллигента перед остатками византийского<sup>1</sup>

---

© Йордан Люцканов. 2015

© TSQ № 53. Summer 2015

<sup>1</sup> Последняя по времени социологически значимая «ипостась» этого мира — реальность и проект «ромейской протонации» (Detrez, Raymond. Pre-national Identities on the Balkans // Entangled Histories of the Balkans, V. 1: National Ideologies and Language Policies, eds. Rumen Daskalov and Tchavdar Marinov, Boston: Brill, 2014, 13-64), распавшиеся в 20-х-40-х годах XIX века.

и связанного с ним османского культурных миров<sup>2</sup>; с середины XIX в. оно ориентировало своих обитателей прежде всего на русские<sup>3</sup>, а с 1890-х гг. прежде всего на немецкие образцы европеизации эстетической и научно-гуманитарной культуры<sup>4</sup>. Исходя из этих своих знаний о культурном контексте и, конкретнее, месторазвитии болгарской русистики, а также от desiderata своего гео-культурного и историко-культурного воображения, я нахожу для болгарской русистики две должные точки опоры, или возможность занятия и сопряжения двух эпистем.

Первая: инструментализировать бивалентность интеллектуальной родословной болгарской гуманитарной культуры, или понимаемость с точки зрения последней различий между русской и западной культурами (в первую очередь, между русской и немецкой, но также между русской и французской), «угловатостей» и «шероховатостей» обеих. Иными словами, встать на путь конвертирования («продажи» на рынке интеллектуальных товаров) своего умения переводить с «языков» «русской» культуры на языки «немецкой» или «французской», и наоборот. Вторая: прочитывать историю и характер русской культуры (и в частности, литературы) и болгарских с ней (не)взаимодействий в контексте (пост)истории византийского сообщества<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Причем во второй и третьей четверти XIX века из географий локального, христианского и имперского медленно сотворяется география национального, что было прослежено в работе: Лилова, Десислава. Балканите като родина? Версии за териториалната идентичност на българите под османска власт // Култура и критика. Ч. III: Краят на модерността? Съст.: Албена Вачева, Георги Чобанов. Варна: LiterNet, 2003, с. 27-62 (доступно в сети: <http://litenet.bg/publish8/dlilova/balkanite.htm#1a>); и в других работах этого автора.

<sup>3</sup> См.: Шишманов, Иван. Наченки на руско влияние в българската литература // Български преглед, 5 (1898-1899), № 9-10, с. 113-176; Аретов, Николай. Преводната белетристика от първата половина на XIX век. София: УИ Св. Климент Охридски, 1990, 99-102, 235-236; и др.

<sup>4</sup> Lauer, Reinhart. Zur Frage der Fremdorientierung in der Bulgarischen Literatur // Kulturelle Traditionen in Bulgarien, hrsg. von R. Lauer und Peter Schreiner. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1989, S. 263-280; 268, 273 и сл.

Чтобы подойти к вопросу о культурно-исторической небеспочвенности этих эпистем, дам краткий субъективный обзор истории болгарской русистики, опираясь на анализ нескольких эмблематических ее образцов.

### Начальные установки болгарской русистики:

Нешо Бончев, Иван Шишманов

Христо Манолакев<sup>6</sup> видел начало изучения русской литературы в Болгарии (возможно, имея ввиду ее *академическое* изучение) в 60-страничной статье профессора Ивана Шишманова «Начатки русского влияния в болгарской словесности» (Наченки на руско влияние в българската словесност<sup>7</sup>) 1899 г. Работа приурочена к столетию рождения Пушкина, имеет также и русскоязычную версию<sup>8</sup>. Она обречена на канонизацию благодаря своему косвенному референту и благодаря востребованности „значимым Другим“.

Я предпочел бы отнести работу Шишманова к прикладной *болгаристике*. И не потому, что автор обращается к вопросам русского литературного и языкового влияния на новоболгарскую литературу и литературный язык, а по причине экзистенциального и интеллектуального обоснования занятия. Обоснование следующее: дорога к оригинальности любой национальной культуры необходимо проходит через периоды ученичества, или повышенной восприимчивости к влиянию других, и скрывать этого не стоит. Шишманов упоминает греческое, сербское, румынское, турецкое, цыганское влияния и посвящает свою работу русскому вкладу в, так сказать, потенци-

---

<sup>5</sup> Последним словосочетанием пользуется Д. Оболенский в своей известной работе (Obolensky, Dmitry. *The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500-1453*. New York: Praeger Publishers, 1971). К близкому взгляду на историю региона подходили и «местные» историки в 1920-х-30-х гг.: Богдан Филов и Николае Йорга.

<sup>6</sup> Манолакев, Христо. Между образа и четенето: Руската преводна бележистика през Българското възраждане. София: Кралица Маб, 1996, с. 6.

<sup>7</sup> Здесь и далее, где не оговорено, перевод мой (И. Л.).

<sup>8</sup> Шишманов, Иван. Русское влияние и Пушкин в болгарской литературе // А. С. Пушкин в южно-славянских литературах. Под ред. акад. Ватрослава Ягича. Сб. ОРЯС ИАН, 70, № 2, СПб., 1901, 1-49.

альную оригинальность болгарской словесной культуры, отмечая, между прочим, неудовлетворительную чувствительность последней к вершинным образцам русской литературы.

Установка указанной работы Шишманова ('другой интерес своим вкладом в мою потенциальную оригинальность') является следствием (кстати, не неизбежным) установки, давшей о себе знать на четверть века раньше, у литературного критика Нешо Бончева. С другой стороны, признание шишмановской работы 1899 г. началом болгарской академической русистики и есть то, что заставляет исследователя обратиться к Бончеву — как автору одного из возможных «прообразов».

Как культурный проект, т.е. как набор интенций культурного строительства, известная мне болгарская русистика (а точнее: воплотившийся или возобладавший ее вариант) возникает к 70-ым годам XIX века. Первая по времени жанрово адекватная ее экспликация — статья Нешо Бончева 1873 г. (перевожу пространное заглавие на русский) «Классические [или классичные? — *И. Л.*] европейские писатели на болгарском языке и польза от изучения их сочинений», с подзаголовком: «Из-за [т. е. по поводу] повести „Тарас Бульба“»<sup>9</sup>. Бончев переводит повесть Гоголя и мотивирует свой выбор. Он мыслит свой перевод и статью составной частью собственного вклада в будущее богатство болгарской литературы. Бончев считает самопознание основой литературы. Но чтоб найти верный путь к самопознанию и самовыражению, народу без актуального опыта в словесности нужно обратиться к чужому опыту. К опыту тех, кто преуспел отобразить свою жизнь в литературе: к Элладе, Риму, Италии, Англии, Франции и Германии. Наилучшим посредником для приобщения к «европейскому просвещению», или к постигнутому в указанных «шести очагах просвещения», Бончев считает русскую литературу. По причине болгарско-русского духовного родства, «[ч]erez русскую литературу мы легче станем причастны европейско-

<sup>9</sup> Бончев, Нешо. Литературна критика и публицистика. Под ред. на Петър Диневков. София: Български писател, 1962, 151-157. Подзаголовок статьи относится в самом деле к ее первой части; вторая часть озаглавлена «Гогол: животът и литературните му дела» (Гоголь: его жизнь и его литературные дела) (см. указ. изд., 158-166 и 245).

му просвещению»<sup>10</sup>. Откуда же названное духовное родство? Непонятно. Здесь обнаруживается некое «слепое» место аргументации. Духовное родство имплицитно возводится к свойству «славянскости». Этим метафизическим и потенциальным родством питается и родство актуальное — в истории. «Духовное родство между народами имеет силу магнита привлекать и спаивать. Два раза в истории дает о себе знать эта сила духовного родства между нами и русскими: русский народ принимает от нас священные книги и язык староболгарские и этот язык ложится в основу русской литературы как краеугольный камень; а в новое время болгары обновляют свою духовную жизнь посредством русского языка и русского образования, потому что в нем мы находим наследие и след родства с нашей старинной исторической жизнью»<sup>11</sup>. Короче говоря, статья Бончева с разной степенью эксплицитности указывает на следующие основания болгарских занятий русской литературой: 1) выслеживание некоего полу-забытого собственного славянского «я», т.е. самопознание под знаком славянскости; 2) приобщение к европейскому просвещению. Эти мотивы сохраняют свою актуальность (но не и весомость) для болгарской русистики до наших дней<sup>12</sup>.

Первый мотив отсылает к демиургическому акту Юрия Венелина, открывшего для российского образованного общества болгар<sup>13</sup>, и к конгениальному Венелину настрою части

---

<sup>10</sup> Там же, с. 154.

<sup>11</sup> Там же, с. 153-154.

<sup>12</sup> Например, автор университетского учебника по старорусской литературе Михаил Михайлов пишет во введении к нему (перевод мой): «Знать старорусскую литературу является неотменной обязанностью и филолога-болгариста. [...] В развитии старорусской литературы XV-XVII вв. мы наблюдаем, в условиях новой (т.е. иной) общественно-исторической и национальной действительности, проявление ряда идей и художественных тенденций, характерных для староболгарской литературы ее второго золотого века (XIV-го)» (Михайлов, Михаил. Старорусская литература X-XVII в. Велико Търново: ВТУ Кирил и Методий, 1979, с. 3-4). А в работах Асена Чилингирова 1980-х – 2000-х гг. полузабытое «я» оказывается «я» сфальсифицированным... Об актуальности мотива приобщения к просвещению см. продолжение настоящей статьи.

<sup>13</sup> См., напр., Манолакев, указ. соч., с. 36-42.

болгарской интеллектуальной элиты, искавшей в 1830-40-е гг. прочный ориентир для отмежевания от становящейся новогреческой идентичности<sup>14</sup>. И мотив, и стоящий за ним проект имплицитно подразумевают подмену общности веры общностью языковой. Болгарское средневековье и болгарская современность подверглись не столько славянизации, сколько преобразению под углом зрения лингвоцентризма, точнее, мышления в категориях языковых семейств<sup>15</sup>.<sup>16</sup> Частным следствием этого процесса явилось характерное упрощение сложности византийского и пост-византийского миров. В них рассматривались и наблюдались преимущественно процессы меж-«славянского» взаимодействия, с учетом или без учета «греческого» «метастрата»<sup>17</sup>, и всё. Выражаясь образно: сложный семейный роман<sup>18</sup> (причем родственников не столько по крови, сколько по выбору) превратился в простую драму греческого, а потом турецкого, покушения на славянскую идиллию<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> О конкуренции нескольких идентификационных проектов среди болгарской элиты в первой половине XIX века и о возобладании одного из них см.: Аретов, Николай. Българското Възраждане и Европа. София: Кралица Маб, 1995, с. 17-92. Рождение мифологемы исконной болгарско-русской духовной близости (в смысле сходства и в смысле близкого общения, дружбы-любви) сопряжено как раз с переориентацией на русские образцы европеизации.

<sup>15</sup> В конце своей статьи (точнее, мемуарно-исповедального эссе) 1900 г. «Русская литература в Болгарии» Димитр Страшимиров, придя к мысли, что русское влияние на болгарскую литературу и образованность явилось и является для нее счастьем, упоминает Лессинга, правильно, по Страшимирову, указавшего Германии, кому подражать: не Франции, а *родственной* Англии.

<sup>16</sup> Это происходит уже у Венелина, а также в основополагающем художественном тексте дискурса/стереотипа о болгарско-русской дружбе, – повести Александра Вельмана «Райна, королева болгарская». Манолакев (указ. соч., с. 45) называет повесть «художественным переводом» идей Венелина.

<sup>17</sup> Слово, к случаю созданное по аналогии с языковедческими понятиями «субстрат», «суперстрат».

<sup>18</sup> Более или менее литературной фиксацией памяти о нем с точки зрения русского средневековья можно считать «Повесть о Вавилонском царстве».

Второй мотив отсылает к проекту светской, и, в условиях Османской империи XVIII-XIX веков, наверное, неизбежно *европоцентричной* коллективной идентичности. Логически и хронологически он предшествовал славянскому. В ходе болгарского самосотворения под знаком Европы (заменившей Христа) характерному упрощению подвергся, кроме византийского и пост-византийского, и османский мир.

Итак, культурные и интеллектуальные основания болгарской русистики, как она практикуется до сих пор, покоятся на двух проектах конца XVIII — первой половины XIX века. Условно назовем их проектом славянизации<sup>20</sup> и проектом европеизации становящейся болгарской нации. Европейские

---

<sup>19</sup> Наше утверждение не противоречит данным скрупулезного исследования, на материале художественной литературы, центрального сюжета болгарской национальной мифологии XIX века (Николай Аретов, *Национална митология и национална литература: сюжети, изглаждащи българската национална идентичност в словесността от XVIII и XIX в.* София: Кралица Маб, 2006).

<sup>20</sup> Большинство проявлений болгарской (прото)русистики, о которых пойдет речь в настоящей статье, можно считать проявлениями *русофильского варианта* славянской идентификации. Он, несмотря на то, что был наиболее влиятельным и до, и после Освобождения, был не единственным, как отмечает Аретов (*Българското...*, с. 52-53). Обзор разных вариантов (венелинского; Раича – Копитара – Караджича; Яна Коллара) см.: Sampimon, Janette. *Becoming Bulgarian: the articulation of Bulgarian identity in the nineteenth century and its international context: an intellectual history*: PhD thesis. University of Amsterdam: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, 2006, с. 153-196, 199-215, 219-220. Следы вписанности болгарской русистики в как раз указанном варианте славянской идентификации обнаруживаются в таком почти современном документе, как (дословный перевод мой) «Позиция общества болгарских русистов о месте русского языка в общей системе образования» (Болгарская русистика, 1992, №2, с. 2-8). Сочетание русоцентрического, лингвоцентрического и европоцентрического акцентов прослеживается на материале продукции журнала «Болгарская русистика» за 1974-1993 гг.: 'русское' самодостаточно, как объект исследования, оно соотносится со славистикой лишь в порядке подключения к нему, 'русскому', 'украинского' и 'белорусского', а не-славянское инонациональное в рамках России/СССР выпадает из поля зрения. К 'русскому' как нечто само собой разумеющееся подключается его способность источать благотворные влияния (главным образом на 'болгарское', судя по той же продукции). Мы можем лишь догадываться, как выглядела бы болгарская русистика, не будь переворота 9 сентября 1944 г.

ментальные образцы этих *этнобиографических*<sup>21</sup> проектов — метафора языкового семейства и матрица (или замкнутый круг) европоцентрической генеалогии культуры.

Первой академической работой по русистике в Болгарии можно и, по-моему, следует считать другую статью Шишманова («академической» не потому, что вышла в академическом журнале — ведь единственным таким в то время был ежегодник Софийского университета, — а потому, что вышла из-под пера университетского профессора и не с целью популяризации): «Един нов руски критик» (статья 1896 г. о книге «Русские критики» Акима Волынского, вышедшей в том же 1896 г.)<sup>22</sup>. Установки академического литературоведения (история и теория литературы) сочетаются в ней с установками «оперативной критики» (или, если угодно, оперативной «метакритики»). Работа Шишманова начинается с констатации того, что суждения Волынского симптоматичны в связи с глубоким сдвигом в русской культуре, связанным с отходом от утилитаристской эстетики и мировоззренческого материализма. Она закладывает альтернативу главному руслу болгарской русистики тем, что 1) не посвящена русско-болгарским связям, 2) не озабочена популяризацией либо исследованием той или иной персоналии русской классической литературы. (Обзор, опубликованный в 1960 г., косвенно свидетельствует, или обмолвливается, о том, что как раз эти две группы исчерпывают тематический репертуар болгарской русистики<sup>23</sup>). Началом можно считать и статью Пенчо Славейкова «Потаенная скорбь поэта» (1899), выдержанную в стиле и духе того литературоведения, образцом которого являются «Вечные спутники» Дмитрия Мережковского.

Подразумеваемые указанными альтернативными точками отсчета варианты болгарской русистики тоже вписываются

---

<sup>21</sup> Насколько мне известно, понятие введено в обращение Руменом Даскаловым.

<sup>22</sup> Шишманов, Иван. Един нов руски критик // Български преглед, 3 (1896), № 3, с. 104-116.

<sup>23</sup> Велчев, Велчо и Русакиев, Симеон. Изучване на руско-българските и съветско-българските литературни връзки за 15 години // Годишник на Софийския университет: Филологически факултет, 54 (1959), 2, с. 87-127; с. 90.



в проекты «славянизации» и «европеизации», т. е. те основания русистики, которые условно можно обозначить как *гносеологические* (самопознание под знаком славянскости и приобщение к европейскому просвещению), остаются нетронутыми. Но в этих вариантах смягчается императивность *этической* установки 'другой интересен своим вкладом в мою потенциальную оригинальность' (или же эго-этноцентрического утилитаризма).

Третье основание болгарской русистики:

Пенчо Славейков

На рубеже XIX и XX веков, у зачинателя болгарского литературного модернизма Пенчо Славейкова, назревает и третья установка (гносеологическая, но вместе с тем и этическая): русская литература имеет (безусловную) ценность сама по себе. Начиная с конца 1910-х годов, развивается один из вариантов этой установки, а именно: русская литература есть манифестация того, что «умом Россию не понять».

К семидесятым годам XIX века русская литература была выбрана основным посредником, а в конце XIX века оказалось, что она востребована в Европе: не просто читателями<sup>24</sup>, а представителями новейшей литературы (с некоторыми оговорками, раннего модернизма) в Норвегии, Франции, Италии, Германии<sup>25</sup>. В свете сопоставления с европейскими натурализмом и ранним модернизмом Пенчо Славейковым были осознаны ее специфичность<sup>26</sup> и самостоятельная ценность с точки

---

<sup>24</sup> О чем осведомляли болгарских читателей, напр., анонимная заметка о русской литературе в Европе (ж. Денница, 2 (1895), № 1, с. 95) и статья Николы Бобчева о поэзии Пушкина (ж. Българска сбирка, 6 (1899), № 9 и 10 (1 и 15 май), с. 397-404). Более того, «Русская литература уже мировая (всесветска) литература», отмечает Димитр Страшимиров (Руската литература у нас // Мисъл, 10 (1900), № 5, с. 278-282; 282).

<sup>25</sup> «Ибсен и Бьернсон, Бурже и Гюисманс, д'Анунцио, Гауптман и Зудерман» (Славейков, Пенчо. Пушкин като национален поет [1899] // Он же. Събрани съчинения под ред. на Боян Пенев, т. VII (Чужди литератури), София: Хемус, 1940, с. 89-96; 89).

<sup>26</sup> Наиболее краткая из дефиниций: способность «видеть человека и в звере».

зрения эстетики и антропологии, считаемых универсальными<sup>27</sup>. Вскоре ее специфичность обрела неабстрактную универсальную значимость, будучи заново — и сознательно, а не как часть наследия отцов — выбранной как (пусть и не единственный) принцип творческого видения в собственной художественной практике (тем же Славейковым)<sup>28</sup>. Данное развитие можно проследить на примере пяти статей Славейкова (трех вышедших в 1899 г. и по одной в 1903 и 1906 гг.)<sup>29</sup>. К истории болгарской русистики, как культурного проекта, и ее самосознания оно имеет следующее отношение. Во-первых, оно имплицитно относит отношение почтения-и-дистанцированности как к русской духовной и интеллектуальной культуре, так и к западной. Внушает и ценность позиции межкультурного переводчика, но, скорее, в рамках и для целей «строительства» собственной национальной культуры, нежели в целях культурно-

---

<sup>27</sup> См. указ. статью и: Славейков, Потаената скръб на поета // Мисъл, 9 (1899), № 5, с. 467-480; он же, Олаф ван Гелдерн // Мисъл, 13 (1903), № 1, с. 18-24.

<sup>28</sup> См. статью 1903 г. и: Славейков, Българската поезия: Сега // Мисъл, 16 (1906), № 6-7, с. 353-375.

<sup>29</sup> Статья «Пушкин в България» (Мисъл, 9 (1899), № 6, с. 563-572) и вышеуказанные работы. Оставляем в сторону вопрос о том, в какой мере прозрения Славейкова являлись прозрениями на фоне других публикаций о русской литературе в Болгарии тех лет и на фоне книги Эжена Мельхиора де Воюэ «Русский роман» (1886); и вопрос о том, почему Славейков имплицитно соглашается с оценкой Пушкина, данной в знаменитой речи Достоевского, и так же имплицитно отталкивается от его недооценки Воюэ. Мы верим, что они выделяются своей культуртрегерской претензией (установкой на культуросозидание), в частности, своей нацеленностью на оценку не только актуальной (пост-натуралистической), но и будущей литературной продукции. В отличие, например, от учебника «История славянских литератур» Й. Иванова, в предисловии к которому автор указывает, среди прочего, и на третье издание труда Воюэ (Иванов, Йордан. История на славянските литератури. Пловдив: Хр. Г. Данов, 1896, [IV]; по опечатке указан, однако, Луи Леже). Иванов приобрел экземпляр «Le roman russe» в начале 1894 г. в Лозанне, где он, после окончания трехлетнего срока обучения по славянской филологии в Софийском высшем училище, специализировался в области романских литератур, латинского языка и палеографии. Этот экземпляр хранится в библиотеке Академии наук в Софии, с памятной запиской владельца на титульной странице. В 1900 г. Иванов защитил в Лозанне докторскую диссертацию о Лермонтове.

го «экспорта». Во-вторых, оно внушает мысль о фактической центральности Пушкина для русской литературной культуры и о его должной центральности, или нормативности, для болгарской (и любой иностранной) рецепции русской литературы.

Рассматривая опыт Славейкова, можно усмотреть три фазиса воздействия-и-усвоения русской литературы болгарскою: 1) погружение в родство по выбору (и авторефлексия по этому поводу, в т. ч. апостериори); 2) рассмотрение/осознание факта воздействия русской литературы и на литературы наций «культурно более продвинутых»; 3) дистанцирование от обеих фаз и новый выбор. Новый выбор характеризуется сочетанием верности к художественным «истинам» русской литературы с верностью к каким-то другим, (условно) западным, «истинам», при этом: сочетанием, а) которое ставит реципиента в подчиненное положение по отношению к обоим источникам «истин»; б) к одной из них; в) к ни одной из них. Сам Славейков идет по третьему пути.

Насколько аналогичная динамика прослеживается и в болгарской литературоведческой озабоченности (в т. ч. рецепции) русской литературой, — отдельный вопрос. Мне кажется, что каждая из фаз характеризуется центральностью присутствия в болгарской рецепции того или иного русского автора, причем возрастает степень зависимости актов выбора рецепирующей стороны от процессов втягивания болгарского литературного поля в то, что называют «мировой республикой словесности»; а также возрастает вероятность расхождения в рецептивных предпочтениях большинства болгарских читателей и литературоведческой элиты, непосредственно делающей акты выбора на основе своих вкусов и литературно-социологической осведомленности. Этап узуализации доминирования русской литературной культуры в рецептивном поле болгарской литературной культуры знаменуется присутствием в последнем Александра Вельтмана, точнее, его произведения «Райна, королева болгарская». Этап нормативизации названного доминирования — присутствием, а точнее водворением представителями (около)литературной

элиты, Пушкина (в связи с празднованием 100-летия его рождения). Этап кодификации (на фоне фактического появления со-доминирующих иностранных литературных культур и сужения и охвата и силы доминации русской) — присутствием Бунина (и отражением факта получения им Нобелевской премии).

В культурном «багаже» «поликультурного» Славейкова существенное преимущество все же за двумя культурами — русской и немецкой<sup>30</sup>. В деятельности Славейкова происходит инструментализация характерной для части болгарской интеллигенции раздвоенности между русской и (одной или другой) западноевропейской культурами<sup>31</sup>: открывается перспектива поставки Западу интерпретаций русской культуры, что и реализовалось в факте защиты первой во Франции докторской диссертации о Гоголе болгаркой Райной Търневой (Лион, 1901 г.)<sup>32</sup>, а позже — в научной деятельности Цветана Тодорова и Юлии Кристевой (Крыстевой<sup>33</sup>)<sup>34</sup>. С данной точки зрения первым текстом болгарской академической русистики оказывается *так и не написанный* труд «Гейне в России», воз-

---

<sup>30</sup> Никола Георгиев, Един почителен манипулатор на Хайне в България (Опит върху приложната имагинистика), абзац 102 из 147. [http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/m\\_s/haine.htm](http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/m_s/haine.htm) (Первая публ.: Ein ehererbietiger Manipulator Heines in Bulgarien // Germanica, 4 Jg., 1997).

<sup>31</sup> Там же, 96/147 и сл.

<sup>32</sup> В отличие от Воюэ, Луи Леже весьма сдержан в оценке ценности этого исследования, см.: Léger, Louis. Nicolas Gogol. Paris: Eloud et Cie, 1914 (издание доступно в сети: <https://archive.org/details/nicolasgogo00leje>), р. 250-251, 260: выдержка из речи Воюэ при открытии памятника Гоголю в 1909 г. в Москве и, соответственно, комментарий Леже.

<sup>33</sup> Вопрос о передаче (транслитерации/транскрипции) имени французского ученого на русский язык не лишен культурно-политического подтекста. Транслитерация французской формы «Kristeva» однозначно ведет к (утвердившейся) русской форме «Кристева». Французская форма, однако, является в свою очередь транслитерацией болгарской формы «Кръстева», а знак ударной гласной в данной форме, «ъ», находит свою относительно фонетически-адекватную русскую транскрипцию в «ы» или в крайнем случае «а» (но никак не в «и»). Короче говоря, речь идет о передаче имени французского ученого *с оглядкой* или *без оглядки* на его происхождение (и место получения высшего филологического образования в т. ч.).

<sup>34</sup> Георгиев, указ. соч., 15-19/147.

можно, заказанный студенту-Славейкову в период его учебы в Лейпциге (с осени 1892 г.) Аугустом Лескиным, в связи с чем Славейков был в Москве в июне 1896 г<sup>35</sup>.

Возможность осуществления программы культурного строительства, экземплифицируемая Пенчо Славейковым, а в 1924 г. кратко изложенная Бояном Пеневым в эссе «Наша интеллигенция»<sup>36</sup>, обрывается в середине 1940-х насильственной русификацией культурной ориентации страны. Она частично откладывается на 1960-е и последующие годы<sup>37</sup>, но в социально значимом масштабе смещается в эмиграцию, становясь при этом фактом не болгарской эмигрантской, а инациональной культуры.

Путь к осуществлению указанной программы в межвоенный период чреват противоречиями и впадением во власть интеллектуальных и духовных комплексов. Она, в самом деле, превратилась в что-то другое. Укажем только на два симптоматических текста, или текстуальных жеста. Представитель авангарда (как художественного — в традиционном смысле, так и культурного — в смысле Бурдьё) Гео Милев кончает свою рецензию на евразийский сборник «Исход к Востоку» экзальтированным утверждением, что «Россия несет новое евангелие миру»<sup>38</sup>. Интеллигент иной эстетической ориентации (тоже учившийся в Германии), германист и в 1926-1970 гг. профессор Софийского университета Константин Гъльбов (Гъльбов), чуть ли не единственным достойным упоминания достоинством книги Шпенглера «Закат Европы» считает намек на восходящую звезду России и, шире, славянства<sup>39</sup>. Гео Милев и

---

<sup>35</sup> Там же, 15/147.

<sup>36</sup> Пенев, Боян. Нашата интеллигенция (Фрагменти) // Златорог, 5 (1924), № 1, с. 3-20; 20.

<sup>37</sup> Реализуясь, напр., в работах упомянутого выше теоретика литературы Николы Георгиева (р. 1937), но и у него достигшей уровень эксплицитной печатной саморефлексии лишь, насколько могу судить, к 1990-ым гг., напр., в уже цитированной работе о Славейкове.

<sup>38</sup> Т. [Гео Милев]. Утверждение евразийцев // Везни, 3 (1921-1922), № 2 (22 окт. 1921), с. 30-32; 32.

<sup>39</sup> Гъльбов, Константин. Шпенглер за упадъка западната култура // Златорог, 4 (1923), № 1, с. 39-55; 55.

Гылыбов «вычитали» из евразийцев и Шпенглера то, что давно было сказано Гердером во второй части его «Идей к философии истории человечества» (1787): что славянам предстоит большое будущее. Видимо, сочетание немецкой выучки и психологического эффекта большевистской революции культивирует в немаловажной части болгарской интеллектуальной элиты настрой полу-бездумного ожидания от России чуда<sup>40</sup>, который накладывается на господствующую в болгарской культуре зависимость от мифологемы старшего/младшего славянского брата, модифицируя, но не ослабляя ее действие<sup>41</sup>.

В начале XXI века болгарская академическая русистика имеет уже весьма рациональное представление о хотя бы одном измерении умонепостижимости русской культуры, объективировав русский литературоцентризм<sup>42</sup>. Но возможность такой объективации, а значит, и освобождения от бездумной очарованности, намечается уже в краткой статье литературного критика Ивана Радославова, опубликованной в эмигрантской газете «День русской культуры» за 1926 г. Радославов констатирует факт восприятия в Болгарии русской культуры исключительно сквозь призму русской литературы и тем самым объективирует возможный побочный эффект

---

<sup>40</sup> Я имею в виду эффект накладывания немецкой рецепции русской культуры (рецепции, катализировавшей, между прочим, и т. наз. консервативную революцию в Германии, см. 63-страничную работу Сергея Алленова «Артур Меллер ван ден Брук и „русские истоки“ немецкой „консервативной революции“») на непосредственную рецепцию последней. Эмблематическим случаем представляется Гео Милев.

<sup>41</sup> Соответствующее указанной мифологеме упрощающе-сентиментальное отношение к культурной инаковости русских, в сочетании с так же господствующим эго-этноцентрическим утилитаризмом, оборвали, в пору сильнейшего беженского и эмигрантского потока начала 1920-х гг., возможность межкультурной встречи и, конкретно, возможность оценить значимость «на глазах» возникающих евразийства и структурной лингвистики (см.: Манолакев, Христо и Петкова, Галина. «Руската София» – несъстояла-та се емигрантска столица? // Литературна мисъл, 38 (1994), № 3, с. 3-9).

<sup>42</sup> Л. Димитров, в: Евтимова Румяна, Божанкова Ренета, Дачев Мирослав, Димитров Людмила, Корсемова Румяна, Манолакев Христо, Нейчев Николай. Руска литература XIX и XX век. Университетски учебник. Пловдив: Хермес, 2005, с. 10.

русского литературоцентризма: его силу вытеснять прочие сферы культуры (да и политику) из образа русской культуры, формируемого у иностранцев. Он отмечает возникновение рецептивной разборчивости, основанной на сознании, что «необъятная русская душа таит в себе и небеса и бездны»<sup>43</sup>. Заметим: здесь, как и в указанном выше эссе Бояна Пенева, речь идет не о (бывшем и тогда общим местом) различии между «политикой» и «культурой», т. е. «бездны» списываются не на счет политики.

Очарованность Россией, вне зависимости от того мыслится ли Россия как «самостоятельный материк»<sup>44</sup> или нет, неплохо уживается с европоцентризмом. Статья 1933 г. болгарского критика Александра Дзивгова, посвященная только что полученной Буниным Нобелевской премии, обнаруживает ход (или инерцию) мыслей, который я считаю типичным для болгарской умеренно-западнической и вместе с тем умеренно-русофильской публики (и элиты). Это инерция «эстафетного понимания» истории, телеологии «к нам», при котором Россия мыслится «наследницей» Европы, а неслучайные представители «Европы» «вводят во владение» «наследника»<sup>45</sup>.

«Седьмой» очаг «европейского просвещения» наследует шести упомянутым в рассмотренной выше статье Нешо Бончева 1873 г., а болгарский интеллигент очарован этой перспективой. Здесь, особенно в конкретном случае (Дзивгова — Бунина), присутствует бескорыстная радость за близкого родственника. Но в потенции — и смутная надежда собственного, как часть чаемого общеславянского, возвышения; в том

---

<sup>43</sup> Радославов, Иван. [Б. загл.] // День русской культуры, Варна, 8 июня 1926, с. 1.

<sup>44</sup> Т. [Гео Милев], указ. соч., с. 31.

<sup>45</sup> Дзивгов, Александър. Бунин и западная литература // Голос, № 467 (14 дек. 1933), с. 2. — Чуть раньше, 26 ноября, та же самая статья выходила на болгарском языке, в № 210-ом еженедельника «Литературен глас». Она носила заглавие «Знаменитый русский писатель Иван Бунин получил Нобелевскую премию» и кончалась словами: «Среди хаоса современной Европы, — Бунин является законченным культурным синтезом, — как и Поль Валери». В русскоязычной публикации к имени Валери добавлено имя Стефана Георге, а средняя синтагма предложения вынесена в конце.

числе готовность успокоиться на том, что когда-то в средневековье из Болгарии были даны начальные толчки великому русскому развитию. Оборотная сторона программы культурного перевода-и-синтеза — успокоенное почитание вечных спутников, и западных и русских. Теневая сторона признания безусловной ценности русской литературы — возможная зависимость этого признания от европейской славы последней.

Конвергенция второй и третьей установок культурного проекта болгарской русистики ('Россия — дорога к европейскому просвещению' и 'Россию умом не понять') привела к гибридной установке, а именно: Россия — новейший (и полноценный) очаг европейского просвещения (или того, что некое 'мы' ценит взамен просвещения), и это оправдывает существование русистики. Важнейший период для выработки этой гибридной установки — это, вероятно, межвоенный период.

Насильственная русификация культурной ориентации Болгарии и болгарской элиты после 1944 г. привела к доминирующему положению одного из вариантов указанной гибридной установки — того варианта, который видел просвещенность, авангардность или исключительность России в марксистско-ленинско-сталинском ключе<sup>46</sup>.

### Основная этическая стратегема болгарской русистики

Болгарская русистика черпает из проекта болгарской коллективной идентичности, претворенного в жизнь Юрием Венелином, Василем Априловым и Марином Дриновым<sup>47</sup>, еще одну стратегию оправдания своего существования, уже не гносеологическую, но этическую: она есть гарант и воплощение перманентного возвращения культурного долга старшему брату-просветителю. Ее можно считать необязательным следствием и конкретизацией установки эго-/этноцентрического утилитаризма. Согласно логике этой стратегии, любой про-

---

<sup>46</sup> Болгарской русистике тоталитарного и пост-тоталитарного периодов мы посвятим отдельную статью.

<sup>47</sup> Мы назвали эмблематические фигуры конгениальной Венелину части болгарской интеллектуальной элиты.



дукт болгарской русистики есть в идеале жест коммеморации и продления существования болгаро-русской дружбы, или обмена дарами. В зависимости от того, какому из прецедентов (делу Кирилла и Мефодия или делу Юрия Венелина) придаётся большее значение, эти жесты подпитывают либо видимость равноправного межкультурного общения<sup>48</sup>, либо невидимое превращение русского символического превосходства в гегемонию<sup>49</sup>. В рамках второй возможности архетипическими текстами болгарской русистики (а не только новоболгарской литературы!) оказываются ода Юрию Венелину (1837) и «Ридание на смерть Юрия Венелина» (1839) Георгия Пешакова, архетипической ситуацией ее существования — ситуация ознакомления русских, при посредничестве Василя Априлова, с этими текстами и последующих реакций на них самого Венелина и, соответственно, Виссариона Белинского<sup>50</sup>.

Стратегему помнящего-и-возвращающего свой долг (или просто: дискурс благодарности)<sup>51</sup> можно, наверное, счесть этическим коррелятом стратегемы самопознания в свете болгарско-русской духовной близости (в смысле сходства и в смысле дружбы). В результате русско-турецкой войны 1877-1878 гг. обе стратегемы обрели новый символический и мате-

---

<sup>48</sup> Общее место в русистической литературе, начиная с Бончева, это мифологема двухфазового обмена: болгарской «отдачи» влияния до XV века и последующего русского возвращения вклада. В ней обнаруживается сходство с идеей Павла Йозефа Шафарика о том, что русские должны вернуть интеллектуальный долг болгарам (высказываемой им в письмах Михаилу Погодину и другим) (Sampron, указ. соч., с. 226). В более общем плане, мифологема двухфазового обмена похожа на временную проекцию идеи Яна Коллара о славянской взаимности.

<sup>49</sup> Механизм становления этой гегемонии убедительно продемонстрирован в работе: Hristov, Todor. The Gift of Literature // Studi Slavistici 11 (2014), p. 301-317.

<sup>50</sup> Названная историческая ситуация проанализирована в указанной работе Христова.

<sup>51</sup> Краткий антологический очерк дискурса благодарности, с позиции умеренного представителя того же дискурса, дан в: Велчев, Велчо. Въздействието на руската класическа литература за формиране и развитие на българската литература през XIX век: Към въпроса за българо-руските литературни връзки до Освобождението. София: БАН, 1958, с. 5-8.

риальный ресурс. Вызов, брошенный болгарскому обществу популярным в Болгарии начала XX в. Леонидом Андреевым в 1914 г., статьей «Торгующим в храме», статус стратегем не поколебал<sup>52</sup>. Высокая стоимость этих стратегем в болгарском культурном хозяйстве обеспечивает если не высокий, то не ставимый под сомнение статус занятий болгарско-русскими и русско-болгарскими связями (и в меньшей степени — сходствами)<sup>53</sup> в рамках болгарской русистики.

В постперестроечной русистике Болгарии создались условия для объективации и отказа от стратегемы «помнящего-и-возвращающего свой долг», или для одностороннего упразднения дискурса благодарности: благодаря объективации (обоюдного) «стереотипа»<sup>54</sup>, или «*мифопатологемы*»<sup>55</sup>, болгаро-русской дружбы/духовной близости. Петкова и Манолакев рассказывают о не(до)осуществившейся возможности прорыва в стереотипизированных под знаком близости (сходства) взаимных представлений русских и болгар в начале 1920-х гг., уже<sup>56</sup> указав на замыкающий ее порочный коммуникативный круг: болгарская зависимость от опекающего (и спасшего) русского взгляда и мешает болгарам оценить

---

<sup>52</sup> Рецепция указанного жеста Андреева нуждается в отдельном исследовании. Ей посвящены недавние работы Савы Сивриева (доклад на круглом столе «Болгария и Россия (XVIII – XXI вв.) – стереотипы и деконструкции», 15 мая 2013 г.), Григория Шкундина (2010), Страшимира Цанова (2003).

<sup>53</sup> Преимущество контактологии над типологией (устанавливаемое эмпирическим подсчетом работ, неизбежно приблизительным) можно объяснить как сильными позициями позитивизма в болгарском литературоведении, так и силой инерции литературно-критического мышления среди болгарских историков литературы: впечатление или мысль о несопоставимости художественных достоинств (с одной стороны) русских и (с другой) болгарских произведений мешает заняться типологическим сопоставлением и сравнением.

<sup>54</sup> Чавдарова, Дечка. Стереотипът на българина в руската култура от XIX век // Да мислим Другото: Образи, стереотипи, кризи XVIII-XX в., съст. Николай Аретов. София: Кралица Маб, 2001, с. 130-142.

<sup>55</sup> Петкова, Галина и Манолакев, Христо. Да (не) откриеш българина // Да мислим Другото..., с. 143-154.

<sup>56</sup> Манолакев и Петкова, „Руската София“... (см. выше, прим. 41).

русских вне их роли опекунов (и спасителей), и обрекает русских на верность той роли. Продолжая размышления Чавдаровой, можно задать вопрос: как указанный стереотип и возникшая необходимость «отбивать» упреки в неблагодарности моделируют репертуар и самосознание болгарской русистики? И не приводит ли данная зависимость, в период охлаждения отношений с Россией, к понижению уровня эксплицитности самосознания у русистов, из-за чувства вины в отношении то ли к России (за неспособность компенсировать охлаждение), то ли к болгарской культуре (за подчеркнутую лояльность к русской в предыдущий период)?

### Заключение

Взамен двум из привычных гносеологических стратегем (эпистем, установок, оправданий) болгарской русистики, обусловленным культурными проектами «славянизации» и «европеизации», мы предлагаем две новые: 1) инструментализировать бивалентность (русско-западность) интеллектуальной родословной болгарской гуманитарной культуры и 2) осознать свое место в (пост)истории византийского сообщества.

Первая из них, как мы показали выше, вошла в обращение уже в начале календарного XX века.

Элементы второй из эпистем наличны в рассматриваемой выше работе Ивана Шишманова 1899 г.<sup>57</sup>; в посвященной Константину Леонтьеву и его взгляду на болгар работе 1932 г. поэта-символиста, левого интеллигента и будущего директора Института литературы Болгарской АН (в 1949-1959 гг.) Людмила Стоянова<sup>58</sup>; а также у медиевистов — в середине XX в.

---

<sup>57</sup> Они присутствуют, поскольку работа не ступеневывает эвристический потенциал парадигмы *общностей по соседству* (в перспективе, парадигма балканистики) по сравнению с парадигмой общностей по (языковой) генеалогии (парадигма славистики). Их нет, поскольку указанная эвристичность усваивается болгарской болгаристикой, но не и болгарской русистикой.

<sup>58</sup> Стоянов, Людмил. Византизмът и славянството: К. Н. Леонтев за българите // Училищен преглед, 31 (1932), № 2 (февр.), с. 309-328. – Но симптоматично то, что объяснение Стоянова почему болгары изменили *византизму* является, имплицитно, частью объяснения того, почему они изменили

у литературоведа Боню Ангелова<sup>59</sup> и после 1970-х у искусствоведа Асена Чилингирова<sup>60</sup>; в работах Николая Нейчева (с оговорками); в нескольких статьях по церковной истории 1990-х-2000-х гг. архимандрита Павла Стефанова<sup>61</sup>. Стоит пожалеть о том, что работа Ф. Бадалановой и М. Плюхановой<sup>62</sup> связана с болгарской русистикой только местом выхода и именем редактора, ответственного за ее выход. Но из-за нежелания или неспособности выйти за пределы славистической парадигмы нетрудно вернуться в колеи привычной Венелиновской эпистемы. А ре-территориализация болгарской культуры в качестве балканской и соответствующее изменение взгляда на русскую не имеет, на мой взгляд, достаточного потенциала привести к дооформлению чаемой мною эпистемы<sup>63</sup>.

---

России; не будь сомнения в измене России, вопрос об измене византизму вряд ли бы поднимался. Это, помимо прочего, свидетельствует о том, что русская претензия на право говорить с точки зрения (единственного или хотя бы старшего) наследника Византии не ставится под сомнение (более того: не объективируется).

<sup>59</sup> Ангелов, Боню Ст. Из старата българска, сръбска и руска литература. София: БАН, 1958. – Этот труд, подобно труду Шишманова 1899 г., ситуирует себя в болгаристике, но востребован (напр., по свидетельству автора этих строк, в середине 1990-х гг. он имел место в библиографии для студентов-русистов по предмету «древнерусская литература») болгарской медиавистической русистикой. Автор привлекает сочинения, имеющие признаки литературных и исторических, из «старославянских» рукописей безразлично какой редакции (болгарской, сербской или русской), как переводные, так и оригинальные, считая свое комментированное собрание вкладом в изучение средневековой литературной культуры болгар (Ангелов, с. 3-5). Опыт Ангелова не прошел даром для русистов, составителей учебной хрестоматии по древнерусской литературе, выпущенной Софийским университетом в 1992 г. (подробнее об этом в продолжении настоящей статьи).

<sup>60</sup> Чилингиров, Асен. Цар Симеоновият Съборник от X век. Изследвания. Т. 1, 2. Берлин: Виделина, 2007-2008.

<sup>61</sup> А также в ряде болгаристических трудов, чей потенциал почти не усвоен болгарской русистикой.

<sup>62</sup> Бадаланова-Покровска, Флорентина и Плюханова, Мария. Средневековая символика власти в *Slavia Orthodoxa* // Годишник на Софийския Университет: Факултет по славянски филологии, 86 (1993), № 2 (Литературознание), с. 95-164.

<sup>63</sup> Я приведу свои доводы в отдельной работе.

И та и другая эпистемы дают возможность рассмотреть этическую и познавательную ущербность доминирующего в русско-болгарских и болгарско-русских межкультурных отношениях дискурса (не)благодарности (который нуждается, скорее, в деконструкции, чем в опровержении его оснований средствами позитивистской историографии). Первая из эпистем дает также возможность не подпадать под влиятельные автостереотипы русской культуры (безмерность, «всемирную отзывчивость»), подчас делающие интеллигентов и интеллектуалов (и занятых, и незанятых ею профессионально) нерелевантными адептами этой культуры (см. выше)<sup>64</sup>; но и избежать позицию адепта цивилизации, изучающего русское варварство<sup>65</sup>. Вторая — рассмотреть редукционизм нормальных и нормативных в русской культуре представлений о (пост)византийском сообществе<sup>66, 67</sup> а также воскресить в памяти/ввести в интеллектуальный кругозор болгарской культуры непрестижных соседей (непрестижных в рамках и русо/славянофильской и западо-фильской версий трансформации идентичности болгар в XIX-XX вв.).

Обе эпистемы требуют, с моей точки зрения, применение прежде всего двух наборов теоретических предпосылок и методологических средств: 1) постколониальной теории, обогащенной принципиально важным признанием того, что рядом

---

<sup>64</sup> О действии сходного механизма культурной «заражимости» у русских воспитанников в XIX в. см.: Аретов, Българското..., с. 51-52. (см. выше, прим. 14)

<sup>65</sup> Возможность такого подхода в русле болгарской культуры засвидетельствована, напр., в статье деятеля царьградской эмиграции Николы Генювича 1869 г. «Новая цивилизация», где Россия ассоциируется одновременно с отсталостью и с опасным новшеством. (Ссылка на источник по: Аретов, указ. соч., с. 63).

<sup>66</sup> Слово сочетание контаминирует «византийское сообщество» (Дмитрий Оболенский) и «Византию после Византии» (Николае Йорга).

<sup>67</sup> Перечислим четыре рецептивных интенции: редукция османского мира до христиано-мусульманского противопоставления; расчленение поствизантийского/османского миров на «европейский» и «азиатский»; редукция восточно-христианского мира до православного, а православного до греко-славянского; расчленение славянского компонента на южнославянский и русский.

с культурами колониальных метрополий и (бывших) колоний существует третий, того же порядка обобщения, разряд культур; 2) теории междисциплинарных обществ Диониза Дюришина, сопряженной с социологией культурного поля Пьера Бурдьё (и соответственно измененной)<sup>68</sup>.

Русский литературный опыт обретет новый смысл с точки зрения распавшегося византийского сообщества. И та точка зрения потребует и иной этической эпистемы, отличной от эпистемы отдачи *долга старшему брату*.

С точки зрения указанных desideratum должны измениться и прагматика и тематика болгарской русистики. Их же неакадемическим коррелятом был бы сдвиг в болгарской коллективной идентичности, ре-ориентация и ре-локализация болгарской культуры.

С точки зрения же ре-ориентированной и ре-локализованной болгарской культуры станет возможной новая оценка русской литературы как ценной самой по себе.

---

<sup>68</sup> Подробнее об этой методологической программе см.: Ljuckanov, Jordan. Towards Paired Histories of Small Literatures, To Make Them Communicate // *Studi Slavistici* 11 (2014), p. 285-300.